



Марианна
Понова
ЮБЕЦАЛЬ



INSPIRIA

Москва
2022

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
И75

Художественное оформление серии
Константина Гусарева

Ионова, Марианна Борисовна.

И75 Рюбецаль / Марианна Ионова. — Москва : Эксмо,
2022. — 480 с.

ISBN 978-5-04-155010-3

Рюбецаль — древнегерманский дух гор, который может помочь заблудившемуся путнику, если тот ему понравился. А может и привести его к гибели.

Роман Марианны Ионовой вместил форму эпоса в форму трилогии. Ионова подобрала истории о связанности человека и недр Земли. Эта связанность в каждой судьбе работает по-своему. Повесть, давшая название всей книге, пожалуй, ярче всего показывает, как геология может быть не только профессией, но и мистическим предназначением...

Инго Хубер с детства коллекционировал минералы. И спустя годы, во время Второй мировой войны, пройдя через американский плен и лагерные рудники в Сибири, стал Игорем Ивановичем. Женатым на русской, удочерившим русскую девочку, которая стала ему роднее родного сына, оставленного в Германии. Продолжая верно служить науке, он тосковал по непрожитой жизни... и был ли он действительно Инго Хубером или и тут кроется тайна чужой личности? Куда завел его Рюбецаль?

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-155010-3 © Ионова М., текст, 2022
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

ИОНОВА МАРИАННА БОРИСОВНА – прозаик, критик. Родилась и живет в Москве. Окончила филологический факультет Университета Российской академии образования и факультет истории искусства РГГУ. Как критик печаталась в литературных журналах, автор книг прозы «Мэрилин» (М., 2013), «Мы отрываемся от земли» (М., 2017). Лауреат независимой литературной премии «Дебют» в номинации «эссеистика» (2011).

Жизнь рудокопа

Повесть

Но вот в обеих, в земле, а также и в плоти твоей, сокрыт свет ясного божества, и он пробивается насквозь и рождает им тело по роду каждого тела: человеку по его телу и земле по ее телу; ибо какова мать, таким бывает и дитя. Дитя человека есть душа, которая рождается из плоти из звездного рождения; а дети земли суть трава, зелень, деревья, серебро, золото, всякие руды.

Якоб Бёме.

«Аврора, или Утренняя заря в восхождении»¹

К тем играм в Альпах наш азарт не стих. Мы и сейчас, мой друг, играем в них. Когда бледнеет в прошлом дивный свет. Наш путь лежит наверх за ним вослед.

К. Ф. Майер²

¹ Перевод А. Петровского.

² Перевод М. Ребристого.

Начало этой истории лежит в солнечном ноябре позапрошлого года.

Оно опирается на небывало чистую для позднего времени твердь, и небесную, и земную. На ясное небо и неяркий, однако, свет, равно и на черные, печатные, как в апреле, стволы деревьев, золотистоголубоватую взвесь за ними, гладь асфальта, металлически-матовое сияние которого напоминало о водной глади, на распыленную даль — на все, отсылающее к весне.

Тем, что это подобие на поверхности переместилось со мной, когда я спустилась под землю, где отличия времен года только усугубляются в одежде людей, объясняется факт, ставший завязкой истории, а именно свежее пристальное внимание, оживляющее и того, кого оно избирает, и того, от кого исходит.

Я не стыжусь признать, что мой взгляд в поезде метро был весеннего происхождения. Взгляд снизу вверх от меня сидящей на стоящего надо мной мужчину. Он держался левой рукой за горизонтальный поручень, а в правой был раскрытый журнал, достаточно низко опущенный, чтобы мне видеть лицо.

Впрочем, можно ли приписать то, что я стала всматриваться в этого человека, лишь неурочной весне?

Он выделялся. Ростом — очень высоким. Длиннополом черным пальто из толстого сукна, какие не носят с 90-х. Родимым пятном, не столько темным, сколько крупным, вверху левой щеки, под глазом. Наконец, уже для меня лично, его выделяло и, возможно (оправдываю я себя), прежде всего мой взгляд притянуло серебряное кольцо с молитвой на безымянном пальце держащей журнал руки — в точности как у меня.

А помимо: волосы, прямые, тускло-золотистые, обрамляющие лицо, скорее широкое, и прикрывающие уши, чуть закручиваясь концами наружу. Прическа эта, слишком женственная для роста, тяжелого пальто, кондового кожаного портфеля, прислоненного к ноге; для напряженности переносицы и рта, уверенно отнесенной мною насчет личностного субстрата отличной от преходящей естественной сосредоточенности тем, что чтение не вызывает ее, а выявляет, — эта прическа отвечала и всему мутно-гнетуще-тревожно-архаично-основательному, как «рыцарская», сиречь «романтическая». (Не забыть и журнал, узурпировавший место айфона и наверняка разделивший его обязанности на пару с мобильником — ровесником слова «мобильник».) Да, по убедительному, пусть и малодостоверному свидетельству давно листанных книжек с картинками, прапрадед Шумана, пес на Чудском озере или благообразный любовник Ундины, повторился в праправнуке предпочтением именно такой длины. Кристально-бледная голубизна вокруг точечных зрачков, из-за чего глаза первоначально казались большими и даже навывкате, хотя

Жизнь рудокопа

были немногим больше среднестатистических, золотистый отсвет на прямых, чуть сально лоснящихся волосах и скуластость, и этот редкий изъяз, почти равнодостоянный шраму, и говорящее кольцо, для слишком многих соблазн и безумие, составляли что-то, внутри чего оспаривали друг друга вызывающе-капризное и упрямо-угрюмое, дерзкое и беззащитное, неустойчивое в себе и монолитное, мужское и женское.

Я пыталась вообразить школьные годы мальчика, затем юноши с родимым пятном. Дразнили ли его, скажем, *Горбу!* Тогда уж посконнее и циничнее — Пегим, например. Отваживала ли от него девушек эта метка или, наоборот, как любая метка, притягивала? Неужели он не сознает, что даже чуть отстающая от норматива стрижка привлекает празднично-беглое внимание к лицу, стало быть, и к пятну?... Значит, собственный облик как целое ему недоступен, у него нет участливого зеркала других глаз. Ведь настолько не видит себя лишь тот, кого не видит никто бескорыстный, но не беспристрастный. Выполняет ли кольцо с молитвой на безымянном пальце обязанность обручального? Непроизвольность этих вопросов, так легко слагающихся, тоже удивляла меня, хотя и не смущала, более того — радовала, как будто извещала меня от меня же привычной.

Глядя на него, я читала журнал без обложки, которую отвернутые страницы прячут в себе. Неметафорический, бумажный журнал между тем я не могла читать вовсе: мне доставался слепой обрез, а то, что может быть понято, удаляющее всякую таинственность, слова,

кроме гравированных на кольце, находилось по ту сторону, по его сторону.

При подходе поезда к очередной станции он отпустил поручень, сложил журнал (мелькнувшую обложку я рассмотреть не успела), наклонился к портфелю и затем, с портфелем в руке, стал продвигаться на выход. Он встал у самых дверей и, когда те раздвинулись, шагнул первым. И в ту же секунду я поднялась и, почти прилепившись к спинам последних покидающих вагон, вышла на платформу.

Минутой ранее моя поездка еще оканчивалась через две станции, и мой день еще сулил то, что сулил и утром, но мужчина в поезде обнулил его, сбросил, как цифры прежнего счета перед новым таймом. Нет, это я обнулила мною же предрешенное, перерешила его, но только зачем? Пустившись вслед за человеком, который приведет меня в никуда, в приграничную зону между жизнями его и моей, где невозможно находиться, потому что не на чем стоять и нечем дышать, я пустилась в небывалую для себя авантюру, столь же бессмысленную, сколь и безопасную, то есть по бессмысленности и безопасную. Я понимала, что последую за ним до первой же отрезвляющей и отчуждающей меты чужого пространства и поверну назад, и на ходу уничижала и стыдила себя, но вот за что? За безрассудство преследования или за безрассудство саморазоблачения перед собой же? Или за недостаточное безрассудство, за отчаянность, тем более жалкую, что оно мне ничем не грозит, что оно — чужое, взято напрокат у собирательной

Жизнь рудокопа

романной героини и умещается в один абзац, вырванный из текста?

Стоя позади него на эскалаторе, я видела небольшую, кое-как зачесанную лысину. Черный массив пальто, особенно под светлым затылком с его ущербной золотистостью, казался вдвойне тяжелым.

И что было моей наживкой — моей для меня же? То есть какую цель я преследовала, преследуя? Но как ответить, не ответив прежде на вопрос о природе единственности, найденной мною в одном из сонма ежечасных пассажиров метро. Среди них встречались диковины, не то что представляющие — воплощающие бронебойный романтический нонконформизм почти маскаратно... Впрочем, в том-то и крылась их слабость — в не задорого приобретенной полноте выражения, в целесообразности, целенаправленности всех черточек и знаков изъятия себя из презренной злобы дня, в уютной гармонии фронды. Ведь романтическое (согласно Гегелю, по крайней мере мною перевернутому) нецелесообразно, части в нем не подчинены целому, тогда как целое покрывает, примиряя с собою, части. Незрячий до самого себя, мой пассажир не проектировал, не осмысливал своей непримиримости с модой, трендом, каноном — как ни определили, не стремился к ней, а потому не являл какого-либо из щедрой линейки типажей, будь то пользователь эксклюзивно-серийного сплина или владелец дизайнерской модели пассаизма. Все, чем он отрицал моду, тренд ли, канон, было единично и случайно, и сама

доведенность деталей в общее случайна. Однако скажи я, что он *был самим собой*, как тут же его замкнул бы жадный циркуль скороспелого и самозванного совершенства, на службе у страха остаться Витрувием без золотого сечения, зодчим без проекта, проектом без чертежа, пятном, постоянно теряющим и заново находящим свою кромку. Как теряло на миг его пятно, словно подразумеваемое с краю в зависимости от угла преломления света.

Ни одна составляющая его облика еще не говорила сама за себя. Все то, что я отнесла в нем к романтизму, но не округлила до романтизма, существовало не для его рефлексии, а лишь для моего стороннего взгляда. И именно потому не для любого стороннего взгляда как навязанное, указанное, а только для моего. Для моего, «под свою руку» изготовленного романтизма, с которым никто не мог быть сличен, и выдержать, потому что лекала не было. Вряд ли бы кто-либо другой увидел в случайном смешении — черноте и долготе расстегнутого, под собственным весом расходящегося полами пальто (ладно бы еще кожаного, так матерчатого, с поясом), почти в извращенно-смешном соседстве прически, которая могла бы подчеркнуть благородную нежность юноши, но не придать ее лысеющему мужчине за сорок, и родимого пятна — увидел бы дух. Дух, нелепостью своей формы и неясностью своей сути пугающий, и опять же только меня. А где дух, там и тайна. Тайна, которая мне поручила ее раскрыть, но сначала доделать, доглядеть ее и за нею.

Жизнь рудокопа

Улицу, где мы вышли, я не опознала, но передо мной тут же восстал скорее образ, чем план, и скорее гений, чем образ, района, в который лет восемь—десять назад меня часто приводила не надобность, а фланерство. Эта нежданная встреча с тенью давнишней беззаботности была тем более кстати, что мое предприятие начинало меня пугать. Не исходом, мною купированным, обезвреженным, но который, однако, все оттягивался — хотя от меня бдительно не отставала строка вроде электронной, гласящая, что конец преследованию должен наступить чем раньше, тем лучше, и каждую условную межу, только уловив издали, я намечала себе как знак повернуть обратно. Нет, меня пугал не марш на чужое, не то, что могло бы меня подстеречь, как партизанская засада, а, напротив, причина этого захватнического похода. Я сама. Меня пугала та я, которую показал мне не подготовленный даже смутным и скомканным решением рывок в сторону за мало что незнакомым — неизвестным мужчиной. Пугало звеняще-отрешенное хладнокровие, с которым я прикидывала, не безумна ли. И страх вдруг осыпался, обнаруживая под собой сухую скорбь о себе как об обреченном родственнике.

Коротким рабочим днем был ознаменован канун ноябрьских праздников, и я не сомневалась, что тот, за кем я иду, направляется, как и я, домой. Но впустило его светло-серое четырехэтажное здание в стиле функционализма, оттесненное от обочины небольшим мощным пустырем-стоянкой, с несколькими разномастными

табличками справа и слева от белых пластиковых дверей — деловой центр средней руки.

Все полтора километра от павильона метро я соблюдала не навлекающий подозрений отрыв и дала ему увеличиться, у дверей нарочно помедлив. Когда я вошла, до меня уже доносились шаги на лестнице слева за проходной. Я стояла перед турникетом, приручая неумолимую данность своего бесправия, но опомнилась прежде, чем ко мне обратился охранник. Очутившись снаружи, снова перед дверьми, я, по счастью, додумалась изучить таблички. Нотариальная контора, столовая (не иначе, как для своих), остальное — офисы фирм. Я списала названия, ни одно из которых не откликалось в памяти. Впервые я сожалела о том, что прежде от моего спартанского телефона ничего, кроме благ его телефонной природы, не требовала, а то до поисков в Интернете не пришлось бы терпеть. Дома, едва разувшись, я включила компьютер. Из-под плохо прилаженных, великоватых, с чужого плеча, англизированных имен выступали фирмы, производящие оборудование для стоматологических кабинетов, торгующие комплектами постельного белья, предлагающие туры в ОАЭ, кафельную плитку из Италии и грузоперевозки по России... В одни я деспотично его не «пускала», другие милостиво оставляла как вариант. Что-то, что взнуздывало досаду на необходимость довольствоваться гаданием, а затем и его изжить не солоно хлебавши, заточило и мою смекалку, и теперь ее лезвие играючи секло мантры удушливого пораженчества.

Жизнь рудокопа

Среди офисов был пункт выдачи заказов интернет-магазина. Вместо того, чтобы застолбить за собой первый же календарь со щенятами или набор фломастеров, я отсеивала товар за товаром. Вещь на роль предложения должна была, точно «звезда» в эпизоде, отдать свое лучшее целому, но как часть обогатить его, но смиренно, подстроившись и сообразовавшись. Я прочила эту вещь в сувениры, в память о незадачливой вылазке за пределы себя. Мою привередливость утолил неказистый и несуразный предмет — футляр для ключей, шматок искусственной кожи, словно забракованный при выкройке того портфеля.

Не прошло и десяти минут после того, как я, кликнув на «самовывоз», выбрала из адресов искомый, и мне позвонила девушка-оператор. Бог весть почему, но я опасалась мужского голоса в трубке, как опасалась узреть через стойку выдачи того, благодаря кому существовало светло-серое здание со всеми вобранными ужавшимися возможными мирами. Такая, не по возрасту и по стати, работа не его унижала, а меня обкрадывала — как если бы *deus ex machina* спустился на середине спектакля и к тому же повелел освободить помещение в связи с угрозой пожара.

Столковавшись о том, что пропуск мне будет заказан на первый рабочий день после праздников, я написала письмо своему начальству, испрашивая этот день в счет отпуска.

Мне предстоял карантин двоящихся, как в дурноте, выходных. Коротать их помогал вопрос, попадавший на

глаза то и дело и между делом, как мои руки. Чего я хочу от того, к которому добиваюсь? Не знакомства. На это я не посягала из чувства меры, а может, чести. Но, пусть не сближение, однако что-то мне нужно, без чего я не успокоюсь. Увидеть его еще раз? Закрепить ничего не держащий узелок, само же событие, к которому отсылает?

Я ежедневно наведывалась в район, где ждало меня — но не раньше срока — светло-серое здание, и я избегала его так же честно и трепетно, как мыслей о единственном, кто вошел при мне в его двери.

Это был старый московский северо-восток, застроенный некогда в меру довоенной индустриальной деловитости, и плотно, и скупно, чтобы после войны не утеснившись вместить жилые кварталы, под рост медленно усыпляемым фабрикам, поновляемым больницам — четыре-пять этажей. Он словно не притязал быть чем-то более города вообще, до сих пор лишь кое-где меченный неразборчивым и ленивым находом девелопера, и официозно-хипстерское живописное бодрячество еще не покорило его пуританскую безвидность. Он донашивал грифельно-серую штукатурку, алый и палевый кирпич, хворостяные, постные в угоду ноябрю кроны рощ, прикрывающих жилые дома, как растительные ризы — прародителей. Он во всем был скромен и щедр, скромен на краски и объемы и щедр на простор, не терпящий пустоты. Я отражалась в нем лицом женщины без возраста и без макияжа, разве что больше тронутым усталостью, чем мое, но и несравнимо больше — кротостью. Кротостью от долгого молчания, а не от рождения.